Золотые пропорции бытия

Валентина ЕФИМОВСКАЯ

О поэзии Геннадия Иванова

Поэзия Геннадия Иванова заставляет задуматься не только об особенностях его личного мировоззрения, но и о сути поэзии вообще, понять, что мы любим стихи, удовлетворяющие «жажду целостности» (Платон). Природное, естественное начало обеспечивает возможность исследования сложного музыкального тона, который может быть описан комбинацией множеств простых волн, дающих красоту музыкальному произведению. Эта математика применима и к поэзии. Равномерное, выразительное её звучание возникает, когда каждое слово имеет свою силу и, не маскируясь другими словами, доносит заложенный в них смысл. Такова одна из характерных особенностей стихов Геннадия Иванова, мыслителя, поэта, человека мастерства и чувства. Именно это свойство делает его стихи узнаваемыми, запоминающимися, раскрывающими конкретные и предполагаемые смыслы, отражающими целостность мира в его всеобщей взаимосвязи и взаимозависимости.

Открылись двери – женщина вошла,
она сказала медленно и просто:
«Живи, любя, живи, не помня зла.
Живи, чем жив, до самого погоста».

Важная черта поэзии Геннадия Иванова это её русскость, русскими смыслами исполнены все его стихи – и лирические, и философские, и духовные, отражающие познание мира путем любви, и через опытное переживание православной традиции – обусловленное возможностью энергийного соединения, бытийственного “резонанса” человека с Творцом.

Пряный запах
флоксов увядающих…
Небосвода выгоревший цвет.
В этом мире много унывающих,
А счастливых вроде бы и нет.
Но счастливых много – уповающих
На любовь, на свет, на красоту…
Эту жизнь с восторгом принимающих.
Эту принимающих – и ту…

В стихах Геннадия Иванова ощущается продуманная метафизика, стремление к познаваемому идеалу, к «золотой целостности». Особенность этих стихов, которые сами в совокупности представляют художественную целостность и ценность, можно определить словами философов. Допустимо сказать, что в них: «с одной стороны, наблюдается полнота переживаний, доступная лишь целостному уму и обеспечивающая главное – “подключение к Целому”, “соучастие” и “восчувственность” (М.Бахтин), а с другой – последовательная интерпретация произошедшего».

Действительно, поэт внимателен к жизни во всех её проявлениях, особенно к жизни любимой Родины, от которой неотделима его жизнь. Судьбу России он переживает своей судьбой и отражает своим словом. Сквозь все его стихи проходит непрестанная молитва о России, так «умная молитва» сопровождает каждую минуту жизни верующего человека.

Ни тропаря, ни кондака не зная,
Стою стыдливо, слушаю, молюсь.
Я за тебя молюсь, родная Русь.
Не может стать бесовскою святая.
Я за тебя молюсь, святая Русь.
За обновленье русского народа.
Пусть наносное сгинет, отпадёт,
Пусть сохранится в Боге наш народ,
Лукавого пускай не ищет брода…
Да сохранится в Боге наш народ.
Пускай его рассеются враги.
Прошу: «России, Боже, помоги».

Но что для поэта родина? Земля, воздух, природа, друзья, её история, её беды и победы. Поэт не идеализирует свою Россию-матушку, но по-сыновьи, смущенно и тихо признается в своих чувствах:

Я не могу без родины моей.
Опять приеду, и опять, и снова,
Есть что-то для меня среди полей –
Как бы весь мир вмещающее с л о в о.
А так, посмотришь, ничего и нет –
Пейзаж неброский, бедность и разруха…
Но есть какой-то изначальный свет
И та земля, что многим стала пухом.

Поэт стремится познать фундаментальную природу реальности эмпирическим и религиозным путями – на основе собственных знаний и переживаний, через историческую и родовую память понять принципы бытия, будучи уверенным, что основополагающий – любовь во всех её проявлениях. Это та божественная и человеческая любовь – наполняющая каждую секунду пространства-времени и земной жизни. Поэт, осмысливая закономерности существования, соотношение пространства и времени, «духовными очами» видит целостность и непрерывность времени. Но исследуя конкретную непрерывную функцию бытия Руси-России во времени, он отмечает, выражаясь языком математики, что не в каждой точке предел функции равен значению функции в этой точке, т.е. там непрерывная функция терпит разрыв. Поэта не пугает это бедствие, он не минует точку разрыва, но пытается понять причину его возникновения и отваживается соединять разъятые катаклизмом концы, искрящиеся болью, как провода, находящиеся под током высокого напряжения.

Много утрачено,
но еще главное живо:
Наша земля и заветы
великих сынов…
Много фундаментов
густо покрыла крапива,
Но не покрыла священных,
нетленных основ.

Примечательно, что точка разрыва – это всегда отдельно взятая точка – не бывает, как уточняет математика, «несколько точек разрыва подряд», то есть, нет такого понятия, как «интервал разрывов». Хотя XX век для истории России, вопреки законам математики, стал, условно говоря, именно таким «интервалом». Жизнь поэта частично пришлась на это аномальное, удручающее состояние Родины, и только со временем он стал осознавать причины и последствия произошедшего.

Встаёт мой дед
и говорит: «А где Россия?».
Встаёт мой прадед
и опять: «А где Россия?».
И третий, и четвёртый: «Где Россия?».
«Россия где?» – мне предки говорят.
А я в ответ: «России больше нету».
А я в ответ: «Она осталась с вами».

А я в ответ «Её уже не будет.
России нету места на земле».
И дед, и прадед, третий и четвёртый
Глядят в глаза мне.
«Быть того не может!
Не может быть! Хоть что-нибудь осталось.
Ищите, мы поможем», – говорят.

Последствия таких разрывов русские люди испытали на собственных судьбах, причин исторических бедствий много, главная, уверен поэт, – нравственная, связанная с оскудением духовности в человеке. Это особая, трагическая тема в творчестве Геннадия Иванова, видящего лучшие стороны человека в наследовании им традиции, в понимании необходимости быть и оставаться русским в вере, в самосознании, в милосердии, в любви, в семье и в защите своего мира.

Последний русский человек,
Когда входил – хотя бы к князю, –
Вначале кланялся святыне,
Лишь потом
Отвешивал хозяину поклон.
Прекрасный,
Очень русский был обычай.
Как измельчали мы. Как суетимся.
Князей земных боготворим лукаво.
Себя при них так унижать готовы…

Поэт решает творческие задачи не только констатацией фактов, не только образным описанием событий и своего к ним отношения. Хотя живописный почерк и художественные особенности поэзии Геннадия Иванова достойны отдельного, расширенного исследования, в котором надо отметить особую реалистичную эстетику, создающую «эффект присутствия». Песенный лиризм и молитвенная строгость, любовная восторженность и трагизм потерь – краски поэтического полотна Геннадия Иванова. Но более интересна концептуальная мировоззренческая картина. Поэт, пристально всматриваясь в современников, отражая видение их и собственного несовершенства на фоне идеальных картин бытия, погружаясь в мир реальной красоты, рассматривает взаимосвязи и соотношения разных субстанций – природных и вещественных, сотворенных и унаследованных. Ландшафт и архитектура, памятники и святые места – это та внешняя совокупность, в пространстве которой существует противоречивый образ русской ментальности, формируется диалог человека с миром.

Какая мягкая трава
На родине моей.
Какие жаркие дрова
На родине моей.
Какие древние холмы
На родине моей.
Какие светлые умы
На родине моей.
Талантов столько, как цветов,
На родине моей…
Всегда, всегда мне будет кров
На родине моей.

Доказательно поэт не сомневается не только в целостности и богоданности мира, но и в неделимости его истории. Исторические стихи Геннадия Иванова обладают просветительской, нравственной идеей, обозначают направление жизненного пути к духовным вершинам, указывают конкретные способы их достижений, что сродни тем, которыми управлялась Россия в прежние века, когда именовалась Святой Русью.

Ты говоришь о вечном и простом:
Спасти Россию можно лишь терпеньем –
Ты говоришь: молитвой и постом!
Но я добавлю: волей и служеньем!
Не просто жить – как по теченью плыть,
Не просто жить – как лебеда и тополь…
Служить России, «рваться ей служить»,
Как в «Выбранных местах…»
заметил Гоголь.

Есть еще одна особенная страница творчества Геннадия Иванова – стихи о поэтах и поэзии. Поэт, посвящая стихи поэтам и осмысливая природу творчества, показывает красоту, неразрывность и неизбывность поэтической ткани, её способность оберегания души, в подобие защитной ткани воинского обмундирования, защищающей тело. Поэзия способна защитить и от осколков ненависти, и от ледяного мрака русофобии, и от духовной смерти.

За любовь ты бился и за славу
Родины, земли своей родной.
Отвергал ты всякую отраву,
Не любил заслуженный покой.
И стихи – как золотые слитки,
Ты оставил русским паренькам.
Ты лежишь на кладбище «Ракитки»,
А стихи достанутся векам!
(«Николаю Тряпкину»)

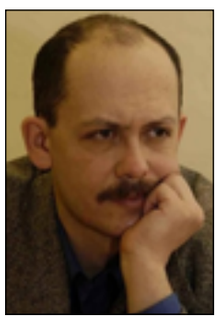
Золотые слитки – образ не только запоминающийся, но сквозной и смысловой. Он трансформируется в золотые буквы на черном стяге, или в «золото пшеницы», проявляется в портрете октября, что «с золотым чемоданом стоит на перроне и ждет». Вспоминается, что «…лучи у солнца – золотые! Все кругом сияет, будто рай!». Или в такой связи:

Полнота удивленья и лада –
Травы в поле, лучи в высоте!

Эта «прошивка» бытия золотыми лучами-нитями Божественной славы не только укрепляет и украшает поэтическую ткань, но наводит на размышления о некой присущей поэзии Геннадия Иванова внутренней гармоничной системе отношений элементов, «частей мира», об их взаимности, которая выра-

Бесы русского вольнодумства

Михаил КРУПИН



О романе Максима Замшева «Вольнодумцы»

Роман «Вольнодумцы» сдвигается с места неспешно, как бы в сакральных традициях русской прозы – от Гончарова до Гранина. Ровное глубокое дыхание. До внезапности точные психологические наблюдения за жизнью наших современников, атмосферные метафоры, приятно мерцающие здесь и там мастерством поэта-модерниста в союзе с изяществом повествователя. «День был полон вязкого снега и внезапного горя…», «Колеса застучали яростнее, будто у них кончались силы и надо было дотянуть до ближайшей станции во что бы то ни стало», «Февраль в Петербурге, хоть и смирил свой свирепый нрав, все же не мог изжить привычку остужать человеческое жилье, проходя сквозь стены с легкостью иллюзиониста…».

Удивительное свойство прозы Замшева – одновременно густота и невесомость. Вообще проза поэта – феномен, еще ожидающий отдельного исследования. Со времен Пушкина, Лермонтова – сквозь Мариенгофа, Тарковского, Пастернака и до наших дней – поэт, берущийся за прозу, если относится к делу всерьез – предельно лаконичен, оттого и невесом, но и в самом языковом минимализме чудесным образом остается поэтом. Но мы отвлеклись. Причем, на самом интересном. Потому что сквозь эту густую и самоценную ткань, будто сквозь сумеречное, магическое марево, пробивается нерв детективной коллизии. Окровавленный болючий нерв смертоубийств и иных злодеяний, подозрений, предательств, подстав… Точнее, там бьется несколько нервов, упруго закрученных вокруг главных героев романа. На первый взгляд, эти линии не связаны между собой – убийство внучки генерала, заговор мятежных юнцов, гибель старшего брата героя под колесами электрички. Но мы, искушенные читатели, конечно, уже предвкушаем, что автор подарит нам в свой срок ошеломительную завязь этих линий.

И вот тогда, в венце из закольцованных интриг, перед нами явится сокрытый до поры глубинный философский смысл произведения. Ведь это тоже русская традиция. Помните? – читаешь «Бесов», «Братьев Карамазовых», «Подростка», и чувствуешь ежеминутно – сквозь все идееносные психозы, монологи, свитые в змеиный клубок родственные и любовные связи, сквозь все заковыки детективные – кто убил? за что? поймают или улизнет? – исподволь доказывается какая-то величественная нравственная теорема! Какая? – Сейчас дочитаем, вот только все надрывы в гостиных и избах пройдем…

Раздумывая над прочитанным, ловишь себя на том, что невольно – по закону обратной перспективы – хочется окинуть взглядом всю историю «вольнодумства» на Руси, от князя Курбского до декабристов, и далее – от петрашевцев, Герцена, «Народной воли» до первых марксистских кружков… И запинаешься на петрашевцах, потому что вместе с ними прикручен к позорному столбу перед расстрелом (слава Богу, отмененным) будущий великий Достоевский. В слезах покаяния пришедший к Христу и давший инфернальные портреты первых революционеров в «Бесах».

Роман «Вольнодумцы» и начинается с «проклятых вопросов», одолевающих «русских мальчиков»: «…Он рано начал негодовать на бездействие Бога. Если Он есть и Он всемогущ, почему чудесные люди страдают, а мерзавцам выпадают длинные, сытые и веселые судьбы?». Это достоевское выражено почти побулгаковски. («Воры же во все времена устраиваются великолепно, и все любят воров, потому что возле них всегда сытно и весело» («Жизнь господина де Мольера».) Но озорной отстраненности Булгакова здесь нет. В каждом портрете и психологическом этюде, сопутствующем очередному повороту сюжета, физически ощущаешь боль писателя за своего героя, доброго, распутного, нескладного, но не оставляющего тщетные попытки «быть вполне хорошим».

Артем, главный герой повествования, – не вольнодумец. Просто его возлюбленная – с ними, и Артем за неё страшно боится, предостерегает… Скрепя сердце, позволяет собираться у себя в библиотеке заговорщикам, изучать опыт переворотов, вырабатывать программу… Ну и, понятное дело, бухать! Артем призывает одуматься, «в России исчерпан лимит революций», «кровь порождает кровь!», и убеждает вольнодумцев использовать легальные площадки, не провоцируя насилия… В сущности, Артем – типичный меньшевик (если кто помнит историю ВКП(б)).

Кстати, аллюзия «Вольнодумцев» с «Бесами» – отнюдь не моё измышление. Она не скрывается автором, напротив – декларируется. Один из героев, подсказывая следователю – в каком направлении вести поиск убийц, советует перечитать Достоевского. И именно роман «Бесы»…

При этом Максим Замшев далек от повторения перипетий бессмертного «памфлета», как сам классик именовал своё произведение. История порочных революционеров не проецируется на современность, а в корне переосмысляется.

В среде «охранителей» (и тем вольнодумное дело весьма осложняется) встречается много хороших людей. Мужественных, прямодушных, честных. Генералы Крючков и Елисеев. Сын последнего Иван, полковник полиции, доискавшийся до тайных пружин двух убийств, совершённых на расстоянии сорока лет одно от другого. Его неподкупные помощники, Туманов и Шульман. Благодаря именно таким людям евангельская сентенция «нет ничего тайного, что не стало бы явным» стала народной пословицей! Благодаря именно этим службистам, спокойным, бесстрашным, да ещё… врожденному у нас феномену совести, которая готова и полвека кровоточить в нас, не умирая, страшные причины трагедии сорокалетней давности были вскрыты. «Земля прозрачнее стекла, и видно в ней, кого убили и кто убил, на мертвой пыли горит печать добра и зла» (Арсений Тарковский).

Практически все заговорщики, включая девушек, эгоцентричны, сексуально распущены и в целом равнодушны к участи товарищей… Дикая самовлюбленность, пожалуй, самый извинительный дефект кружковцев. Так революционность Виктора Небратских, будущего «министра обороны в революционном правительстве», – на поверку выходит лишь сублимацией комплексов, страстным желанием, на грани психоза, оглушительно заявить миру о себе. Он мстителен, бесчеловечен, и судя по отсутствию элементарного инстинкта самосохранения, болен психически…

Поражает, как убога и жалка их критика «несправедливого мира», в РФ преимущественно: «В Париже остановки метро чаще, а у нас вся журналистика продажная, и никакой четвертой власти нет!..».

Автор тонко прорисовывает «поток сознания» современной вольнодумской тусы – скачкообразный, обрывчатый, как тик-ток, перелетающий и в личную жизнь. Когда осколками калейдоскопа, как на клиповой прокрутке сетевой игры, меняются половые партнеры, мелькают собственные чувства, не оставляя в сердце и уме следа. Просвистывают наслаждения, «печальки» и «обидки», надменные оценки, гневные реакции, желания и удивления, злорадства… Жизнь становится легкой рефлексией – на воздействие тех или иных обстоятельств, видов за окном автомобиля, самолета, на экранчиках айфона, ноута… «Майе Кривицкой снились телеграм-каналы… Они сперва перемешались, а потом начали горячиться, спорить друг с другом, отплевываться кувыркающимися буквами…». Воистину история трагедий повторяется порой в виде фарса, и вольнодумцы XXI века, по Замшеву, – по сути жалкая пародия на своих предшественников.

Артём вдумчивей многих, хотя и его пока несут волны жизни – но он *человек сознаю-*

Постмодернизм в

Олег КУИМОВ

О повести Александра

Журнал «Нева» завершил публикацию романа Александра Лепещенко «Магнум». Русское общество в очередной раз становится свидетелем возрождения бессмертного Кощея позднерусской литературы – постмодернизма.

Литература в конце двадцатого – начале двадцать первого столетий экспериментировала с ним активно, затем эта активность свелась к очень малой величине. И казалось, всё – прах!.. Но! – недавно появились произведения Александра Лепещенко «Владимир Необходимович», «Монополия», «Смерть никто не считает», а теперь «Магнум, прощай!». Однако, как и предполагает историческое развитие, постмодернизм Лепещенко претерпевает трансформацию, причём отличительную. И прежде чем заговорить о принципиальном расхождении с существующей моделью, стоит начать с того, что последняя порождена и продвигаема однозначно либеральными взглядами.

Видимо, поэтому, даже направленный к выходу на новую литературную орбиту, постмодернизм по преобразующей сути своей, осознанной творцом или неосознанной, развивается на основе разрушения традиционных форм мышления. И их последующая эволюция далеко не безобидна, поскольку сознание читателя претерпевает экзаменационные испытания на духовную и интеллектуальную зрелость. Даже серьёзная проза Набокова временами отличается аутизмом, доходящим до душевной механистичности её героев.

В своё время Нина Берберова писала о Набокове, что, создавая свой новый стиль, он создавал и нового читателя. Таким образом, литература, утратившая в постмодернизме идеологическое воспитательное начало, всё больше превращалась в самоцель, в которой текст призван жить своей собственной, глубинно отделённой от действительности жизнью.

Особенно ясно данная проблема высвечивается в творчестве знаменосцев современного постмодернизма Татьяны Толстой, Виктора Пелевина, а ещё раньше – у Саши Соколова. И никакая стилистическая утончённость, интеллектуальная новизна и даже постулируемое внутреннее освобождение писателя и читателя не в состоянии оправдать главную потерю нового литературного направления – утрату внутренних ориентиров. Да, нынешнему реализму не удаётся пока создать либо вывести на общечитательскую орбиту произведения уровня Толстого и Достоевского, Чехова и даже близкого к постмодернизму Платонова, при том что искушённый читатель жаждет новой литературной моды, но всё же никакой реализм не подрубает корней человека, в отличие от постмодернизма. И либеральное спекулирование, и игра в понятие внутреннего освобождения, когда оно отрывает корни человека от рода, народа – Родины, чревато превращением русского человека в ивана, не ведающего родства.

И потому именно сейчас, на фоне очередного критического обострения в противостоянии с западной цивилизацией, постмодернизм, казалось бы, полностью утратил какую бы то ни было актуальность, а тем более с его однозначно либеральным лицом. Вот почему Лепещенко, уходя от реалистических форм, стремится повернуть вектор развития современного постмодернизма от канонического интеллектуального уныния к обретению цели и желанию двигаться к ней. Выбор темы защиты русского мира ведёт уже к новому постмодернистскому содержанию, основу которого составляют не привычные интеллектуальные изыски, а действительно патриотическая тема, к радости, не имеющая точек соприкосновения с недалёким ура-патриотизмом. Она-то как раз и демонстрирует идеологический разрыв с существующим либеральным постмодернистским движением. И показанная изнутри основа русского сознания охватывает не только славян, но и другие народы, исторически вовлечённые в единое цивилизационное движение.

Вместе с тем, интересен и опыт синтезирования постмодернистской и реалистической школ в творчестве Лепещенко. Интересен в плане того, какое направление приоткрывается новой синкретической литературой с таким небывалым смешением жанров, а также тем, насколько оно способно увлечь нарождающуюся «молодую» прозу.

Неповторимость – синоним величия для писателя, как случилось с Платоновым, хотя многие пытались ему подражать. Справедливо, что никакая из литературных школ не пытается заявить о его священной принадлежности к их лагерю. Даже постмодернисты не посягают на святая святых, потому что Платонов избежал в своём творчестве постмодернистских – цинизма, ироничности, игры в интеллектуальную воздушную искромётность; потому что Автор у него живее всех живых и читатель вторичен в сотворении текста. То же самое можно сказать и о Лепещенко, добавив, что, отрицая идеологию либерального постмодернизма, он не отказывается от её технических приёмов в создании остранённного мира.

Вместе с тем стало окончательно ясно, что стиль Александра Лепещенко закрепился в своей самобытности, непохожести на кого бы то ни было в России: от влияния Павича (из западных) и Платонова (из наших) не откреститься; сюжет, как мне уже приходилось отмечать, вспомогателен для главной идеи. Стремление вырваться из рамок традиционного русского реализма уводит писателя за пределы привычной слуху литературы. В итоге в творческом плане получился не сюр-трэш Татьяны Толстой, не возрождённый поток сознания Саши Соколова, не буддистский сюрреалистический стёб Пелевина, не бунтарская бытовая городская былина Довлатова… Это стиль более серьёзный, более похожий на антиутопии Замятина тяжестью слога и философичности.

Подобные метания в поисках новых направлений своего развития русская литература совершала век тому назад. Ворвавшись в неё грохочущей кометой, Маяковский разорвал привычную размеренную жизнь поэзии новой стихотворной формой с рваным, ярко выраженным ударным ритмом. Новоявленный футуризм увлёк за собой многих и до сих пор не утратил своей притягательности. Однако никому прежде не приходило в голову внедрить футуристическую ритмику и преломлённую образность в прозу, как это сделал Лепещенко.

В стилистике автора важную роль играют неологизмы. Лепещенко смело заменяет ими привычные слова: испрохвала (в значении «исподволь»), очетырёхугольнившиеся танки, совиноглазые окна, размедведился, сердцелюдка, приглазилось, слухнул, насталил глаза, разорванный голос, ударил вдруг глазами, «и тут же в голове – промельк», «не глотая больше мгновений».

Конечно, неологизмы работают на создание ирреального мира (а каким он и должен видеться в апокалиптичной ситуации, когда на инспирированной третьей стороной войне русский убивает русского, один из которых, искалеченный духовно опять же этой третьей стороной, превратился вдруг в укра?). Однако ближе к финалу возникают вопросы о мере использования этих самых неологизмов. Непонятно только: их, на мой взгляд, избыточность в повести – отголосок урбанизации сознания мира или же такой новояз Лепещенко, наоборот, опережает время и сам ускоряет естественный ход вещей?